ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Ги де МОПАССАН

Пышка



Пышка
Ги де Мопассан

Аннотация
Ги де Мопассан. Пышка

Аннотация

`Я вошел в литературу, как метеор`, – шутливо говорил Мопассан. Действительно, он стал знаменитостью на другой день после опубликования `Пышки` – подлинного шедевра малого литературного жанра.

Тема любви – во всем ее многообразии – стала основной в творчестве Мопассана. В предлагаемый читателю сборник включены новеллы, созданные писателем в разные годы, и роман `Монт-Ориоль`, в котором любовные коллизии развиваются на фоне модного курорта.

Ги де Мопассан
Пышка

В течение нескольких дней через город проходили остатки разбитой армии. Это было уже не войско, а беспорядочная орда. Люди с длинными грязными бородами, в мундирах, превратившихся в лохмотья, плелись вяло, без знамен, растеряв свои части. Видно было, что все подавлены, измучены, утратили способность соображать и принимать какие-либо решения, — и шли они лишь по привычке, падая от усталости, как только останавливались. Здесь были, главным образом, мобилизованные запасные, миролюбивые люди, спокойные рантье, сгибавшиеся теперь под тяжестью ружья; были еще молодые солдатики подвижной гвардии,[1] легко воодушевляющиеся, но и легко поддающиеся страху, одинаково готовые и к атаке и к бегству. Среди них попадались группы солдат в красных штанах — остатки какой-нибудь дивизии, разбитой в большом сражении; артиллеристы в темных мундирах, затерявшиеся в массе разномастных пехотинцев; а кое-где сверкала и каска тяжело ступавшего драгуна, с трудом поспешавшего за более легким шагом пехоты.

Проходили отряды похожих на бандитов воль-

---

[1] Примечания: 1

Особый вид ополчения, созданный в франко-прусскую войну 1870–1871 гг.

ных стрелков, носившие героические клички: «Мстители за поражение», «Граждане могилы», «Союзники в смерти».

Их командиры — бывшие торговцы сукном, зерном, салом или мылом, случайные воители, получившие звание офицеров кто за деньги, кто за длинные усы, — люди, обвешанные оружием, одетые в тонкое сукно, расшитое галунами, говорили громовыми голосами, обсуждали план кампании и хвастливо утверждали, что они одни держат на своих плечах погибающую Францию; а между тем они побаивались подчас даже собственных солдат, бродяг и грабителей, нередко отчаянно храбрых, и отпетых мазуриков.

Ходили слухи, что не сегодня-завтра пруссаки вступят в Руан.

Национальная гвардия, в течение двух месяцев с большой осторожностью производившая разведку в окрестных лесах, иногда подстреливая при том своих же часовых и готовясь к бою всякий раз, как где-нибудь в кустах зашевелится кролик, — теперь разошлась по домам. Сразу исчезло оружие, мундиры, все смертоносные атрибуты, еще недавно наводившие страх на межевые столбы по большим дорогам на три мили вокруг.

Наконец последние французские солдаты перешли Сену, направляясь через Сен-Север и Бур-Ашар в Понт-Одемер. Позади всех между двумя адъютантами шел пешком генерал, впавший в полное отчаяние. Он ничего не мог предпринять с этими жалкими разрозненными остатками армии, да и сам потерял голову среди полного разгрома нации, привыкшей побеждать, а теперь, несмотря на свою легендарную храбрость, терпевшей столь катастрофическое поражение.

Над городом нависла глубокая тишина, молчаливое, полное ужаса ожидание. Многие из ожиревших буржуа, обабившихся за своими прилавками, с тоскливой тревогой ожидали победителей, дрожа от страха, боясь, как бы их вертела и большие кухонные ножи не были приняты за оружие.

Жизнь словно остановилась: лавки были закрыты, улица нема и пустынна. Лишь изредка какой-нибудь обыватель, напуганный этим безмолвием, торопливо пробирался вдоль стен.

Ожидание было до того томительно, что многие желали скорейшего прихода неприятеля.

На следующий день после ухода французских войск небольшой отряд улан, неизвестно откуда явившийся, быстро промчался через город.

Спустя короткое время со склонов Сент-Катрин скатилась на город черная лавина, а со стороны Дарнеталя и Буагильома показались два других потока завоевателей. Авангарды всех трех корпусов одновременно сошлись на площади у городской ратуши, а из всех соседних улиц надвигалась германская армия, развертывая свои батальоны, под тяжелым и мирным шагом которых гудела мостовая.

Команда на незнакомом гортанном языке разносилась вдоль домов, которые казались покинутыми, вымершими; но из-за закрытых ставен множество глаз следило за этими победителями, которые по «праву войны» получили теперь власть над городом, над имуществом и жизнью граждан. Жители в темноте своих комнат были охвачены тем паническим ужасом, который сопутствует стихийным бедствиям, несущим гибель, великим катаклизмам, перед которыми бессильна вся человеческая мудрость и мощь. Такое ощущение появляется всегда, когда ниспровергается установленный порядок вещей, когда безопасности больше не существует, когда все, что охранялось законами людей или природы, отдано на произвол бессмысленной, жестокой и грубой силы. Землетрясение, погреба-

ющее целое население под рухнувшими домами; вышедшая из берегов река, уносящая трупы людей вместе с тушами быков и вырванными из крыш балками; или покрытая славой армия, которая истребляет тех, кто защищается, и уводит в плен остальных, которая грабит во имя меча и под грохот орудий возносит хвалу богу, — все это одинаково грозные бедствия, подрывающие всякую веру в извечную справедливость, всю ту веру, которую внушают нам, в покровительство неба и могущество человеческого разума.

Между тем в каждый дом стучались и затем входили небольшие отряды. После вторжения началась оккупация. Теперь на побежденных возлагалась обязанность угождать победителям.

Через некоторое время первый страх прошел и восстановилось спокойствие. Во многих домах прусский офицер обедал за одним столом с хозяевами. Иногда он оказывался человеком благовоспитанным и из вежливости выражал сочувствие Франции, уверяя, что ему тяжело участвовать в этой войне. Такие чувства вызывали признательность. К тому же ведь не сегодня-завтра могло понадобиться его покровительство. Ухаживая за ним, можно было, пожалуй, избавиться от нескольких лишних

солдатских ртов. Да и к чему оскорблять тех, от кого всецело зависит наша участь? Это было бы не столько смелостью, сколько безрассудством. А безрассудная отвага уже не является больше недостатком руанских буржуа, как некогда, во времена героической обороны, прославившей их город. Наконец, приводился самый убедительный довод, продиктованный французской учтивостью: быть вежливым с иностранным солдатом у себя дома вполне допустимо, лишь бы не проявлять дружеской близости по отношению к нему публично. На улице делали вид, что незнакомы с постояльцем, а дома с ним охотно беседовали, и с каждым вечером немец все дольше засиживался, греясь у общего очага.

Город мало-помалу принял свой обычный вид. Французы все еще почти не показывались, но улицы кишели прусскими солдатами. В конце концов, командиры голубых гусар, надменно волочившие по мостовой свои длинные орудия смерти, выказывали по отношению к простым гражданам не многим больше презрения, чем командиры французских стрелков, посещавшие год назад те же кафе.

И, однако, в воздухе носилось что-то неуловимое, неведомое, ощущалась какая-то невыносимо

чуждая атмосфера, словно какой-то запах, разносящийся всюду запах вторжения. Он наполнял общественные места и жилища, придавал какой-то привкус пище, создавал впечатление, будто путешествуешь где-то далеко, среди диких и опасных племен.

Завоеватели требовали денег, много денег. Жители неизменно платили. Правда, они были достаточно богаты; но чем нормандский купец состоятельнее, тем тяжелее ему всякая жертва, тем сильнее он страдает, когда какая-нибудь частица его богатства переходит в руки другого.

А между тем за городом, в двух-трех лье вниз по течению, возле Круассе, Дьепдаля или Бьессара, лодочники и рыбаки не раз вылавливали с речного дна вздувшиеся трупы немцев в мундирах то убитых ударом кулака, то зарезанных, то с проломленной камнем головой, то просто сброшенных в воду с моста. Речной ил окутывал саваном эти жертвы тайной, дикой и законной мести, безвестного героизма, бесшумных нападений, более опасных, чем сражения среди бела дня, и лишенных ореола славы.

Ибо всегда найдется несколько отчаянных смельчаков, вдохновляемых ненавистью к чужеземцу и готовых умереть за идею.

Так как немцы хотя и подчинили город железной дисциплине, но не совершали вовсе тех зверств, которые приписывала им молва на протяжении всего их победного шествия, жители Руана приободрились, и местные коммерсанты снова затосковали по своей торговле. У некоторых из них были крупные дела в Гавре, занятом французскими войсками, и они решили сделать попытку добраться до этого порта, проехав сухим путем до Дьепа, а дальше — морем.

Пустили в ход знакомства с немецкими офицерами, и от командующего армией было получено разрешение на выезд.

Для этой поездки решили воспользоваться большим четырехконным дилижансом, и десять человек заказали места у его владельца. Решено было выехать во вторник пораньше, до рассвета, чтобы избежать стечения народа.

Земля уже с некоторого времени была скована морозом, а в понедельник около трех часов дня с севера надвинулись тяжелые черные тучи и принесли снег, который шел не переставая весь вечер и всю ночь.

Утром, в половине пятого, путешественники собрались во дворе гостиницы «Нормандия», откуда отправлялся дилижанс.

Все были еще полусонные и дрожали от холода под своими пледами. В темноте трудно было разглядеть друг друга; и все эти фигуры, закутанные в тяжелые зимние одежды, напоминали тучных священников в длинных сутанах. Но вот два человека узнали друг друга, к ним подошел третий. Разговорились.

— Я еду с женой, — сказал один.

— Я тоже.

— И я.

Первый добавил:

— Мы не вернемся в Руан; если пруссаки дойдут до Гавра, мы переберемся в Англию.

У всех были одинаковые планы, так как все это были люди одного склада.

Дилижанс все еще не закладывали. По временам из темной двери конюшни показывался свет от небольшого фонаря в руках конюха и тотчас же исчезал в другой двери. В конюшне слышен был стук копыт, приглушенный раскиданной в стойлах подстилкой, а из глубины доносился чей-то голос, покрикивавший на лошадей. Слабое позвякивание бубенчиков возвестило, что расправляют сбрую. Это позвякивание скоро перешло в непрерывный, отчетливый звон, который в такт с движениями лошади то замирал, то

звучал снова, внезапно и резко, сопровождаемый глухим стуком подков о землю.

Вдруг дверь конюшни захлопнулась, и шум сразу затих. Молчали и окоченевшие от холода пассажиры, застыв в неподвижных позах.

Белые хлопья снега все падали и падали на землю. Их сплошная блестящая завеса сглаживала все очертания, обволакивала предметы как бы ледяной пеной. И в глубокой тишине города, безмолвного под этим зимним саваном, слышался лишь смутный, неуловимый, трепетный шорох падающего снега, скорее ощущение, чем звук, шелест движущихся легких пушинок, наполнявших, казалось, все пространство, засыпавших весь мир.

Наконец снова появился человек с фонарем. Он вел на поводу лошадь, которая шла нехотя, с унылым видом. Поставив ее в дышло и подвязав постромки, он долго возился около нее, пока приладил сбрую, так как ему приходилось действовать только одной рукой — другая была занята фонарем. Отправляясь за второй лошадью, он заметил неподвижную группу пассажиров, уже совсем белых от снега, и сказал:

— Отчего вы не сядете в дилижанс? По крайней мере, укроетесь от снега…

Никому из них, очевидно, это раньше не приходило в голову, и теперь все поспешили к карете. Трое мужчин усадили своих жен и влезли вслед за ними; оставшиеся места заняли другие укутанные фигуры, едва видные в темноте, не обменявшись при том ни словом.

Пол дилижанса был устлан соломой, в которой утопали ноги. Дамы, сидевшие в глубине, зажгли захваченные ими с собой медные грелки с бездымным углем и в течение некоторого времени вполголоса перечисляли все их достоинства, повторяя то, что всем было давно известно.

В дилижанс впрягли ввиду трудной дороги шесть лошадей вместо обычной четверки, и наконец голос снаружи спросил:

— Все пассажиры сели?

— Все, — ответили изнутри, и дилижанс тронулся.

Ехали очень медленно, шагом. Колеса увязали в снегу; весь кузов кряхтел и глухо поскрипывал; ноги лошадей скользили, они храпели, от них поднимался пар. Огромный бич кучера беспрестанно щелкал, взлетая то с одной, то с другой стороны, свиваясь и развиваясь, как тонкая змея, и вдруг неожиданно обрушивался на один из колыхавшихся впереди крупов, после чего тот

напрягался в новом усилии.

Между тем незаметно наступало утро. Легкие снежные хлопья, которые один из путешественников, истый руанец, сравнил с дождем из хлопка, перестали падать. Мутный рассвет просачивался сквозь тяжелые темные облака, от мрака которых еще ослепительнее казалась снежная белизна полей, где мелькал то ряд высоких деревьев, одетых инеем, то хижина под шапкой снега.

При печальном свете занимающейся зари пассажиры в дилижансе с любопытством разглядывали друг друга.

В самой глубине, на лучших местах дремали, сидя друг против друга, супруги Луазо, оптовые виноторговцы с улицы Гран-Пон.

Луазо, бывший когда-то приказчиком, откупил у своего хозяина, когда тот разорился, его предприятие и разбогател. Он продавал мелким сельским лавочникам по очень дешевой цене очень плохое вино и слыл среди друзей и знакомых ловким пройдохой, настоящим нормандцем, плутом и весельчаком.



Репутация жулика так прочно за ним установилась, что, когда на одном вечере в префектуре местная знаменитость, г-н Турнель, сочинитель песенок и басен, человек острого и язвительного ума, видя, что дамы скучают, предложил им сыграть в «L'oiseau vole»,[2] острота эта облетела залы префектуры, затем пошла гулять по всем салонам города, и еще целый месяц над ней хохотали во всей округе.

Луазо славился еще всевозможными проделками и шутками, иногда удачными, иногда

---

[2] Примечания: 2

Игра слов: L'oiseau vole — птица летит (название игры), Loiseau vole — Луазо ворует.

плоскими. Говоря о нем, непременно добавляли: «Уморительный этот Луазо!»

Коротенький, с большим животом, он походил на шар, увенчанный багровой физиономией с седеющими бакенбардами.

Жена его, рослая, сильная, с громким голосом и решительным характером, представляла элемент порядка и точности в их торговом деле, тогда как муж оживлял его своей веселой энергией.

Рядом с четой Луазо восседал полный достоинства г-н Карре-Ламадон, представитель более высокого сословия, важное лицо, игравшее видную роль в текстильной промышленности, владелец трех бумагопрядильных фабрик, офицер ордена Почетного легиона и член Генерального совета. За все время Империи он оставался вождем благожелательной оппозиции с той единственной целью, чтобы получить поддержку со стороны того режима, с которым он, по его собственному выражению, всегда боролся лишь рыцарским оружием. Г-жа Карре-Ламадон, бывшая значительно моложе своего мужа, служила отрадой и утешением для всех офицеров из хороших семей, попадавших в руанский гарнизон.

Она сидела против супруга, прелестная, миниатюрная, вся утопая в своих мехах, и с сокрушени-

ем оглядывала убогую внутренность экипажа.

Ее соседи, граф Юбер де Бревиль с супругой, принадлежали к одной из самых старинных и знатных фамилий Нормандии. Граф, старый аристократ с величественной осанкой, старался путем разных ухищрений в туалете подчеркнуть свое природное сходство с Генрихом IV, которого славное семейное предание называло виновником беременности одной из дам рода де Бревиль. Муж ее получил за это графский титул и был сделан губернатором провинции.

Граф Юбер, как и Карре-Ламадон, был членом Генерального совета, в котором он представлял партию орлеанистов своего округа. История его женитьбы на дочери мелкого нантского судовладельца навсегда осталась загадкой. Но, так как графиня держала себя с достоинством знатной дамы, лучше всех умела принимать гостей и даже, как говорили, была некогда возлюбленной одного из сыновей Луи-Филиппа, вся знать носила ее на руках, и салон ее считался первым во всем крае, единственным, где еще сохранилась былая галантность и куда далеко не все имели доступ.

Состояние Бревилей, заключавшееся в землях и поместьях, приносило им, как говорили, до пятисот тысяч ливров годового дохода.

Эти шесть человек, занявшие всю глубину кареты, составляли обеспеченную, влиятельную и благонамеренную часть общества. То были люди почтенные, пользовавшиеся авторитетом, люди религии и принципов.

По странной случайности все три женщины оказались на одной скамье, и рядом с графиней де Бревиль сидели две монахини, все время перебиравшие четки и бормотавшие молитвы. У одной из них, старухи, лицо было так изрыто оспой, словно в него выпустили в упор целый заряд дроби. Другая, слабенькая и тщедушная, с красивым болезненным лицом и чахоточной грудью, казалась иссушенной всепожирающей верой, которая создает мучеников и фанатиков.

Сидевшие против монахинь мужчина и женщина привлекали к себе общее внимание.

Мужчина был хорошо известный демократ Корнюде, предмет ужаса всех почтенных людей. В течение двадцати лет он купал свои длинные рыжие усы в пивных кружках всех демократических кабачков. С компанией друзей и соратников он проел довольно большое состояние, оставленное ему отцом, бывшим кондитером, и с нетерпением ожидал республики, чтобы занять наконец подобающее положение, заслуженное столь

обильными революционными возлияниями. В день 4 сентября, вероятно в результате чьей-то шутки, он вообразил, что назначен префектом; но когда он хотел приступить к исполнению обязанностей, то чиновники, оставшиеся единственными хозяевами канцелярии, отказались его признать, и ему пришлось ретироваться. В общем, Корнюде был славный малый, безобидный и услужливый. В последнее время он очень рьяно занялся организацией обороны. Он приказал рыть ямы на полях и срубить все молодые деревья в окрестных рощах, усеять западнями все дороги и, вполне удовлетворенный этими приготовлениями, при приближении неприятеля поспешно отступил к городу. Сейчас он полагал, что будет более полезен в Гавре, где, вероятно, также понадобится обнести город окопами.

Женщина, сидевшая рядом с ним, принадлежала к числу особ легкого поведения и славилась своей чрезмерной для ее возраста полнотой, за которую ее прозвали Пышкой. Маленькая, круглая, как шар, заплывшая жиром, с пухлыми, перехваченными в суставах пальцами, напоминавшими связку коротеньких сосисок, с тугой и лоснящейся кожей, с огромной грудью, выступающей под платьем, она тем не менее была весьма

привлекательна и пользовалась большим успехом благодаря своей привлекательной свежести. Лицо ее походило на румяное яблоко, на готовый распуститься пион; в верхней части этого лица выделялась пара великолепных черных глаз, осененных густыми и длинными ресницами, бросавшими тень на щеки, а в нижней — прелестный ротик, маленький, влажный, словно созданный для поцелуя, с мелкими и блестящими зубками.



Как уверяли, она обладала еще и другими неоценимыми достоинствами.

Как только ее узнали, между порядочными женщинами началось шушуканье и слова «проститутка», «позор» послышались так явственно, что Пышка подняла голову. Она обвела соседей таким смелым и вызывающим взглядом, что сразу воцарилось молчание и все опустили глаза. Один только Луазо игриво поглядывал на нее.

Но вскоре между тремя дамами, которых присутствие этой особы сразу сблизило, превратив чуть ли не в интимных подруг, снова завязался разговор. Они почувствовали, что им, добродетельным супругам, следует заключить союз против этой лишенной стыда продажной твари. Ибо законная любовь всегда с презрением смотрит на свою свободную сестру.

Трое мужчин, которых инстинкт консерватизма тоже объединил при виде Корнюде, завели беседу о денежных делах, в которой звучало некоторое высокомерие по отношению к беднякам. Граф Юбер рассказывал о больших убытках, которые он потерпел из-за пруссаков, — о расхищенном скоте, погибшем урожае, но в голосе его слышалась уверенность крупного землевладельца и миллионера, которого эти потери могли стеснить разве на какой-нибудь год, не больше, г-н Карре-Ламадон, крупная величина

в текстильной промышленности, позаботился на всякий случай перевести в Англию шестьсот тысяч франков, чтобы не бояться сюрпризов в это смутное время. Что касается Луазо, то он сумел сбыть французскому интендантству все оставшиеся у него в погребах простые вина, и теперь ему причиталась от казны огромная сумма, которую он и рассчитывал получить в Гавре.

Все трое дружески переглядывались. Несмотря на разницу в общественном положении, они чувствовали себя как бы братьями по богатству, членами одного великого масонского союза — союза тех, кто владеет, тех, у кого в карманах звенит золото.

Дилижанс подвигался так медленно, что к десяти часам утра они не проехали и четырех миль. Мужчинам пришлось три раза вылезать и идти в гору пешком. Пассажиры начали беспокоиться, так как они рассчитывали завтракать в Тоте, а между тем теперь уже нечего было надеяться добраться туда раньше ночи. Все смотрели на дорогу в надежде увидеть какой-нибудь кабачок, как вдруг дилижанс завяз в снежном сугробе, и понадобилось два часа, чтобы вытащить его оттуда.

Голод усиливался, портил всем настроение; а

на дороге — ни одного трактира, ни одного кабачка: близость пруссаков и проходившие здесь голодные французские солдаты разогнали всех торговцев.

В поисках чего-нибудь съестного мужчины обегали все придорожные фермы, но не достали даже хлеба. Недоверчивые крестьяне, опасаясь грабежей, попрятали все запасы, так как изголодавшиеся солдаты отнимали у них силой все, что находили.

Около часу дня Луазо объявил, что у него положительно подвело живот. Другие давно уже испытывали такие же муки; голод все сильнее давал себя знать и заставил умолкнуть все разговоры.

Время от времени кто-нибудь зевал, и почти тотчас же другой следовал его примеру. Каждый зевал по-своему, в зависимости от характера, воспитания и общественного положения: кто — широко и шумно, кто — тихонько, быстро прикрывая рукой разинутый рот, из которого шел пар.

Пышка несколько раз нагибалась, как бы ища что-то на полу, под своими юбками. Но всякий раз она с минутку колебалась, взглядывала на соседей и снова выпрямлялась. Все лица вокруг

побледнели и вытянулись. Луазо объявил, что он охотно заплатил бы тысячу франков за маленький окорок. Жена его сделала невольный жест, как бы собираясь протестовать, но потом успокоилась. Ей всегда было тяжело слышать, что люди сорят деньгами, и даже шуток на этот счет она не понимала.

— Должен сознаться, что я чувствую себя не особенно хорошо, — сказал граф. — Как это я не догадался захватить чего-нибудь съестного?!

Остальные мысленно упрекали себя в том же.

У Корнюде нашлась полная фляжка рому; он предложил ее спутникам, но все холодно отказались. Только Луазо отхлебнул из фляжки два раза и, возвращая ее владельцу, с благодарностью сказал:

— Это очень недурно: и согревает, и заглушает голод.

Выпитый ром привел его в хорошее настроение, и он предложил сделать так, как рассказывается в известной песне о корабле: съесть самого жирного из путешественников. Этот намек на Пышку пришелся не по вкусу благовоспитанной компании. Никто не откликнулся на шутку, один только Корнюде улыбнулся. Монахини перестали бормотать молитвы и, спрятав руки в длинные

рукава, сидели неподвижно, упорно не поднимая глаз и, вероятно, взывая к небу о помощи в ниспосланном им испытании.

Наконец в три часа, когда экипаж находился среди бесконечной равнины, где не видно было ни единой деревушки, Пышка быстро нагнулась и достала из-под скамьи корзину, покрытую белой салфеткой.

Сначала она вынула оттуда фаянсовую тарелочку и красивый серебряный бокал, затем большую миску, где лежали в застывшем соусе два цыпленка, разрезанные на куски; в корзине виднелись еще другие вкусные вещи, завернутые в бумагу: пирожки, фрукты, сласти — провизия, запасенная дня на три с таким расчетом, чтобы не было надобности пользоваться кухней постоялых дворов. Среди свертков с провизией торчали горлышки четырех бутылок. Пышка взяла из миски крылышко цыпленка, достала маленький хлебец — из тех, что в Нормандии называют «режанс», и принялась аккуратно есть.

Все взгляды устремились на нее. От аппетитного запаха раздувались ноздри, рты наполнялись слюной, и мучительно сжимались челюсти. Презрение дам к «этой девке» превратилось в яростную злобу. Казалось, они готовы были ее

убить, выбросить вон из кареты в снег вместе с ее бокалом, с ее корзинкой и со всей провизией.

Между тем Луазо пожирал глазами миску с цыплятами. Он сказал:

— Вот это отлично, сударыня!.. Вы оказались предусмотрительнее нас. Есть же люди, которые всегда обо всем подумают!

Пышка, подняв голову, обратилась к нему:

— Не угодно ли и вам, сударь? Ведь нелегко поститься с самого утра.

Луазо поклонился:

— Честное слово, не откажусь; я не в силах больше терпеть. На войне — как на войне! Не правда ли, сударыня?

И, бросив на окружающих взгляд, прибавил:

— Как отрадно в такие минуты встретить услужливого человека.

Он разложил на коленях газету, чтобы не запачкать брюк, захватил ножиком, который всегда носил в кармане, цыплячью ножку, покрытую желе, вонзил в нее зубы и стал жевать с таким явным наслаждением, что по дилижансу пронесся глубокий мучительный стон.

Тогда Пышка с ласковым смирением предложила монахиням разделить с нею завтрак. Обе тотчас же согласились и, не поднимая глаз, про-

бормотав какую-то благодарность, стали быстро есть. Корнюде также не отказался от предложенного соседкой угощенья и вместе с монахинями устроил нечто вроде общего стола, разостлав на коленях газеты.

Рты беспрестанно открывались и закрывались, жадно поглощая пищу, жевали, глотали. Луазо в своем углу старался вовсю и тихонько уговаривал жену последовать его примеру. Она долго отказывалась, но наконец, после сильного спазма в желудке, не выдержала. Тогда муж, подбирая изысканные выражения, спросил у «очаровательной попутчицы», не разрешит ли она предложить кусочек чего-нибудь г-же Луазо.

Пышка, приветливо улыбаясь, ответила:

— Ну, конечно, сударь, — и протянула ему миску с цыплятами.

Когда откупорили первую бутылку бордо, произошло некоторое замешательство: на всех имелся только один бокал. Из него пили по очереди, всякий раз вытирая его. Только Корнюде — вероятно из учтивости — прикоснулся губами к краю, еще влажному от губ своей соседки.

Окруженные жующими людьми, вдыхая запахи пищи, граф и графиня де Бревиль вместе с супругами Карре-Ламадон терпели ту ужасную

пытку, которую называют «муками Тантала». Вдруг молодая жена фабриканта испустила такой глубокий вздох, что все повернулись к ней. Она была бледна как снег, расстилавшийся вокруг экипажа; глаза ее закрылись, голова склонилась на грудь; она лишилась чувств. Муж в отчаянии умолял о помощи. Все растерялись, но тут старшая из монахинь, поддерживая голову больной, поднесла к ее губам бокал Пышки и влила ей в рот несколько капель вина. Хорошенькая г-жа Карре-Ламадон зашевелилась, открыла глаза, улыбнулась и голосом умирающей объявила, что ей уже гораздо лучше. Все же монахиня, боясь, как бы обморок не повторился, заставила ее выпить целый стакан вина, заметив:

— Это от голода, только и всего.

Тогда Пышка, покрасневшая и смущенная, пролепетала, глядя на ничего еще не евших четырех пассажиров:

— Ах, боже мой, если бы только я смела, я бы предложила этим господам…

И замолчала, боясь услышать оскорбительный отказ. Но тут вмешался Луазо:

— Право же, в подобных случаях все люди братья и обязаны помогать друг другу. Да ну же, сударыни, бросьте церемонии, берите, черт

возьми! Кто знает, доберемся ли еще мы до места, где можно будет получить ночлег? При этакой езде мы будем в Тоте не раньше чем завтра в полдень.

Однако они все еще колебались. Ни у кого из них не хватало духу принять на себя ответственность и сказать «да».

Наконец граф положил этому конец. Обратясь к оробевшей толстухе, он сказал с величественным видом вельможи:

— Мы принимаем ваше предложение с благодарностью, сударыня.

Труден первый шаг. Лишь только Рубикон был перейден, все перестали стесняться. Корзинка Пышки быстро опорожнилась. В ней кроме цыплят был еще страсбургский пирог, паштет из жаворонков, кусок копченого языка, красанские груши, пряники, пирожные и полная банка маринованных огурчиков и лука. Пышка, как все женщины, обожала эти неудобоваримые яства.



Так как, истребляя запасы этой девушки, неудобно было ее не замечать, то с ней заговорили, сперва несколько сдержанно, потом, так как Пышка держала себя прекрасно, беседа стала более непринужденной. Графиня де Бревиль и г-жа Карре-Ламадон, обладавшие большим светским тактом, выказали по отношению к Пышке изысканную любезность. Особенно очаровательна была графиня со своей благосклонной снисходительностью знатной дамы, которой не может коснуться никакая грязь. И только толстая г-жа Луазо, грубая, как жандарм, оставалась все

такой же нелюбезной: она мало говорила, но зато много ела.

Разговор шел, разумеется, о войне. Рассказывали о зверствах пруссаков, о храбрости французов; и все эти люди, бежавшие сами от врага, превозносили чужую доблесть. Затем перешли к личным делам каждого, и тут Пышка с неподдельным волнением и с той горячностью, с какой такие девушки выражают иногда свои естественные порывы, рассказала, почему она уехала из Руана.

— Сперва я думала остаться, — говорила она. — Дом у меня был полон всяких запасов, и я предпочла бы кормить нескольких солдат, чем уезжать из родных мест бог весть куда. Но как только я увидела этих пруссаков — чувствую: нет, не стерпеть! Кровь во мне так и закипела. Целый день я плакала от стыда. Эх, будь я мужчина, я бы им показала!.. Если бы моя горничная не держала меня за руки, когда я смотрела из окна на этих жирных боровов в остроконечных касках, я бы всю свою мебель перешвыряла им в спину... Потом несколько человек из них пришло ко мне на постой, но я первому же вцепилась в горло. Что ж, разве немца не так же легко задушить, как и всякого другого? Я бы его прикончила, если

бы меня не оттащили за волосы. Ну а после этого пришлось прятаться… И как только представился случай, я уехала.

Пышку осыпали похвалами. Она выросла в глазах своих спутников, далеко не проявивших такой отваги. А Корнюде слушал ее с одобрительной и благосклонной улыбкой — как священник внимает верующему, который славит господа. Ведь длиннобородые демократы считают патриотизм своей монополией, так же как люди в рясах — религию. Он, в свою очередь, заговорил тоном проповедника, напыщенными фразами тех воззваний, которые ежедневно расклеивались на стенах, и закончил красноречивой тирадой, в которой разносил в пух и прах «этого негодяя Баденге».[3]

Но тут Пышка возмутилась, так как она была бонапартисткой. Покраснев, как вишня, она прокричала, заикаясь от негодования:

— Хотела бы я видеть, что бы вы сделали на его месте, вы! Могу себе представить! Ведь это вы предали его!.. Если бы нами стали управлять такие болтуны, как вы, пришлось бы всем бежать

---

[3] Примечания: 3

Насмешливая кличка, которую дали Наполеону III его противники, так как он скрывался под этой фамилией после одной из своих политических авантюр.

из Франции.

Корнюде невозмутимо выслушал это, усмехаясь с видом презрительного превосходства, но чувствовалось, что сейчас начнется перебранка; тогда вмешался граф, который не без труда успокоил расходившуюся девушку, заявив авторитетным тоном, что всякое искреннее убеждение достойно уважения.

Однако графиня и жена фабриканта, питавшие органическую ненависть так называемых «приличных людей» к республике и свойственную женщинам инстинктивную любовь к внешнему блеску деспотических монархий, почувствовали невольную симпатию к этой сохранившей достоинство проститутке, взгляды которой были так похожи на их собственные.

Корзина Пышки опустела. Десять человек без труда уничтожили ее содержимое, сожалея, что она не оказалась еще больших размеров. Разговор некоторое время еще продолжался, но после того, как все наелись, — уже с меньшим оживлением.

Надвигалась ночь, становилось все темнее, и, несмотря на свою полноту, Пышка дрожала от холода, который всегда ощущается нами сильнее во время пищеварения. Госпожа де Бревиль предложила ей свою грелку, которую в течение дня

уже несколько раз наполняли углем, и девушка тотчас же взяла ее, так как у нее закоченели ноги. Г-жа Карре-Ламадон и г-жа Луазо дали свои грелки монахиням.

Кучер зажег у кареты фонари. Их яркий свет озарил облако пара над потными крупами коренников и снежную пелену по обеим сторонам дороги, словно развертывавшуюся под этим движущимся светом.

Внутри дилижанса уже ничего нельзя было различить. Вдруг между Пышкой и Корнюде поднялась какая-то возня. И Луазо, рыскавшему глазами в темноте, показалось, что длиннобородый сосед Пышки быстро откинулся назад, как если бы его бесшумно угостили увесистым тумаком.

Впереди на дороге замелькали какие-то светлые точки. Это был Тот. Путешествие продолжалось уже одиннадцать часов, а считая еще два часа, потраченные на четыре остановки, чтобы дать лошадям поесть и передохнуть, — тринадцать часов. Дилижанс въехал в местечко и остановился перед «Коммерческой гостиницей».

Дверца распахнулась — и вдруг хорошо знакомый звук заставил всех пассажиров содрогнуться. То был звон волочащейся по земле сабли. Вслед

за этим грубый голос что-то прокричал по-немецки.

Несмотря на то, что дилижанс остановился, никто из пассажиров не вылезал. Они как будто боялись, что их зарежут тут же, при выходе. Но появился кучер с фонарем и внезапно осветил всю внутренность кареты и два ряда ошеломленных лиц с разинутыми ртами и вытаращенными от ужаса и удивления глазами.

Рядом с кучером, ярко освещенный фонарем, стоял немецкий офицер — высокий молодой человек, очень тонкий и белокурый, затянутый в мундир, как барышня в корсет. Надетая набекрень плоская лакированная фуражка делала его похожим на рассыльного в английском отеле. Непомерно длинные прямые усы свисали по обе стороны рта, все более и более утончаясь и заканчиваясь одним белокурым шнурком, столь тонким, что конец его был совсем незаметен. Эти усы, казалось, давили на углы рта, оттягивали щеки, а у губ образовывали складку.

Офицер по-французски, но с эльзасским акцентом предложил приехавшим выйти из кареты, сказав властным тоном:

— Не угодно ли вам выйти, господа?

Первыми вышли монахини с покорным видом

праведниц, привыкших к послушанию. За ними — граф и графиня, потом фабрикант с женой и Луазо, подталкивавший впереди себя свою грузную половину. Едва ступив на землю, он не столько из вежливости, сколько из осторожности сказал офицеру:

— Здравствуйте, сударь.

Но тот с дерзким высокомерием всесильного человека взглянул на него, не отвечая.

Пышка и Корнюде, несмотря на то что они сидели у самой дверцы, вышли последними, гордые и надменные перед лицом врага. Толстушка пыталась овладеть собой и казаться спокойной. Демократ трагическим движением слегка дрожавшей руки теребил свою длинную рыжую бороду. Оба старались сохранить достоинство, сознавая, что в подобных случаях каждый до некоторой степени является представителем своей родины. Оба они были возмущены приниженностью своих спутников. Пышка старалась выказать больше гордости, чем ее спутницы, эти порядочные женщины, а Корнюде, считая, что должен служить примером, всем своим видом как бы продолжал ту миссию сопротивления, которую он начал, роя на дорогах окопы.

Все приехавшие вошли в просторную кух-

ню гостиницы, и немец потребовал, чтобы ему предъявили подписанные командующим разрешения на выезд, в которых были указаны имя, занятие и приметы каждого. Он долго рассматривал всех, сличая эти приметы, потом сказал отрывисто:

— Все в порядке, — и исчез.



Только теперь путешественники вздохнули свободно. Они были еще голодны и заказали ужин. Его обещали приготовить через полчаса, и, пока две служанки хлопотали на кухне, все общество отправилось осматривать свои комнаты Комнаты эти выходили в длинный коридор кончавшийся дверью с выразительным номером на матовом стекле.

Когда наконец стали садиться за стол, появился сам хозяин гостиницы.

Это был страдавший одышкой толстяк, бывший лошадиный барышник; он постоянно хрипел, сипел, покашливал от скопления мокроты в груди. От отца он унаследовал фамилию Фоланви.

Он спросил:

— Кто здесь мадемуазель Элизабет Руссе?



Пышка вздрогнула и обернулась:

— Это я.

— Мадемуазель, прусский офицер желает немедленно переговорить с вами.

— Со мной?

— Да, с вами, если вы действительно Элизабет Руссе.

Она смутилась, подумала с минуту, потом решительно объявила:

— Хоть бы и так, но я к нему не пойду.

Все заволновались. Приказ обсуждали на все ла-

ды, искали объяснений. Граф подошел к Пышке.

— Вы не правы, сударыня, так как ваш отказ может навлечь серьезные неприятности не только на вас, но и на всех ваших спутников. Никогда не следует противиться людям, которые сильнее нас. И, право же, это вам ничем не грозит: вернее всего, дело идет о какой-нибудь упущенной формальности.

Все дружно поддержали графа: стали просить ее, убеждать ее, увещевать, опасаясь осложнений, которые могло вызвать ее упорство. В конце концов ее уговорили. Она сказала:

— Я это делаю только ради вас, честное слово.

Графиня пожала ей руку:

— И мы все вам за это благодарны.

Пышка вышла. Ее дожидались, не приступая к ужину. Каждый сокрушался, зачем не потребовали его вместо этой девушки, такой резкой и вспыльчивой, и мысленно готовил шаблонные фразы на случай, если бы и его вызвали к офицеру.

Через десять минут Пышка вернулась, багрово-красная, задыхаясь от гнева. Она бормотала, тяжело дыша:

— Ах, негодяй!.. Вот негодяй!..

Все окружили ее, желая узнать, в чем дело. Но

она упорно отмалчивалась. Когда же граф стал настаивать, она ответила с большим достоинством:

— Нет, я не могу рассказать. Это никого не касается.

Все уселись вокруг высокой суповой миски, из которой распространялся запах капусты. Несмотря на только что пережитую тревогу, ужин прошел весело. Сидр оказался превосходным. Но только супруги Луазо и монахини из экономии пили его. Остальные заказали вино; Корнюде потребовал пива. У него была своя особенная манера откупоривать бутылки, вспенивать жидкость и разглядывать ее, наклоняя стакан, который он затем поднимал к свету, чтобы лучше определить цвет пива. Когда он пил, его длинная борода, одного цвета с его любимым напитком, казалось, вздрагивала от наслаждения. Он скашивал глаза, не отрывая их от кружки, и имел вид человека, выполняющего свое единственное назначение в этом мире. Можно было подумать, что он в это время мысленно старался связать воедино две великие страсти своей жизни — светлое пиво и революцию. И в самом деле, он не мог наслаждаться первым, не думая о второй.

Супруги Фоланви ужинали в конце стола. Муж,

хрипевший, как испорченный паровоз, настолько задыхался, что не мог разговаривать во время еды. Зато жена ни на минуту не умолкала. Она описывала все свои впечатления от прихода пруссаков, подробно рассказывала, что они делали, что говорили. Она с ненавистью говорила о них, прежде всего потому, что они ей стоили денег, а во-вторых, потому, что ее два сына были в армии. Рассказывая, она обращалась главным образом к графине, довольная тем, что может побеседовать со знатной дамой.

Потом, понизив голос, она перешла к некоторым щекотливым темам. Муж время от времени останавливал ее:

— Ты бы лучше придержала язык, мадам Фоланви…

Но она, не обращая на него внимания, продолжала:

— Да, сударыня, эти люди только и делают, что жрут картошку да свинину, свинину да картошку. И не верьте, когда вам будут говорить про их опрятность. Все это вздор. Пакостят повсюду, с позволения сказать… А посмотрели бы вы, как у них идет учение целые дни напролет. Соберутся все в поле — и давай маршировать: то вперед, то назад, то туда, то сюда. Сидели бы лучше у себя

дома да землю пахали или чинили бы дороги, что ли! Но от этих военных, скажу я вам, сударыня, никому никакой пользы. Их только тому и учат, что убивать, а бедный народ корми их. Я женщина старая, необразованная, но и я, видя, как они тут из сил выбиваются, топчутся до упаду с утра до вечера, не раз думаю: вот ведь есть люди — чего только не придумают, стараясь пользу принести, а другие в это время из кожи лезут, чтобы причинить побольше вреда. Нет, разве это не мерзость — убивать людей, все равно кто бы они ни были — пруссаки, англичане, поляки или французы? Когда вы мстите кому-нибудь за зло, то считают, что это дурно, и вас за это судят. А когда наших сыновей бьют, как дичь, из ружей — это, видно, хорошо, раз награждают крестами того, кто перебил больше народу! Нет, что ни говорите, а мне этого не понять!

Раздался голос Корнюде:

— Война — варварство, когда нападают на мирных соседей. Но она — священный долг, когда защищают отечество.

Старая женщина покачала головой.

— Да, когда приходится защищаться — тогда другое дело. Но не лучше ли было бы убить всех королей, которые затевают войну для собствен-

ного удовольствия?

У Корнюде засверкали глаза.

— Браво, гражданка! — воскликнул он.

Карре-Ламадон глубоко задумался. Он был горячим поклонником знаменитых полководцев, и тем не менее здравые суждения этой крестьянки навели его на размышления о том, какое богатство могли бы принести стране все эти праздные и, следовательно, разорительные для нее руки, все эти силы, которые теперь расходуются непроизводительно; а если бы их применить в промышленности, они могли бы создать то, на завершение чего требуются века.

Луазо тем временем, встав со своего места, подсел к трактирщику и начал о чем-то с ним шептаться. Толстяк смеялся, плюясь и кашляя. Его огромное брюхо тряслось от хохота при шуточках собеседника. В заключение он заказал ему шесть бочек бордо к весне, когда пруссаки уйдут.

Как только ужин окончился, все пошли спать, так как были разбиты усталостью.

Но Луазо, кое-что заметивший, предоставил своей супруге улечься в кровать, а сам принялся прикладывать то ухо, то глаз к замочной скважине, стараясь, как он называл это, «проникнуть в тайны коридора».

Приблизительно через час он услышал шорох, поскорее прильнул глазом к скважине и увидел Пышку, казавшуюся еще полнее в голубом кашемировом пеньюаре, обшитом белыми кружевами. Со свечой в руке она направлялась к двери с круглой цифрой в конце коридора. Вслед за тем приоткрылась одна из боковых дверей, и, когда Пышка спустя несколько минут возвращалась обратно к себе в комнату, Корнюде в подтяжках последовал за ней. Они тихо обменялись несколькими словами, потом остановились. Пышка, видимо, решительно защищала вход в свою комнату. Луазо, к своему огорчению, не мог ничего расслышать, но под конец они заговорили громче, и ему удалось уловить несколько фраз. Корнюде с жаром настаивал:

— Да ну же, оставьте глупости… Что вам стоит?

Пышка с негодующим видом возразила:

— Нет, мой милый, бывают минуты, когда подобные вещи не делаются. К тому же здесь это был бы просто срам…

Он, очевидно, ничего не понимал и спросил:

— Почему?

Тогда она вышла из себя и еще более повысила голос:

— Почему? Вам непонятно почему? Когда прус-

саки здесь, в доме, может быть, даже в соседней комнате?

Корнюде замолчал. Эта стыдливость проститутки, из патриотизма не желающей предаваться ласкам, когда рядом неприятель, должно быть, вновь пробудила в его душе заснувшее чувство чести. Он только поцеловал Пышку и на цыпочках вернулся к себе.

Луазо, возбужденный этой сценой, отошел от скважины, сделал антраша, потом повязал голову на ночь шелковым платком, приподнял одеяло, под которым скрывалась мощная фигура его спутницы жизни, и разбудил ее поцелуем, прошептав:

— Ты меня любишь, дорогая?

Во всем доме наступила наконец тишина. Но скоро откуда-то — не то из погреба, не то с чердака — стал доноситься могучий храп, ровный, монотонный; протяжный и глухой звук этот напоминал пыхтение парового котла. Это храпел господин Фоланви.

Так как накануне было решено выехать в восемь часов утра, то на следующий день все общество к этому часу собралось на кухне. Однако дилижанс, занесенный снегом, торчал сиротливо посреди двора, без лошадей и без кучера. Послед-

него тщетно искали в конюшне, на сеновале, в каретном сарае. Тогда все мужчины решили отправиться на розыски в деревню. Выйдя из гостиницы, они очутились на площади, в конце которой виднелась церковь. По обеим сторонам тянулись ряды низеньких домов, около которых они заметили прусских солдат. Первый попавшийся им на глаза чистил картошку. Второй, подальше, убирал лавку парикмахера. Третий, обросший бородой чуть не до самых глаз, ласкал плачущего ребенка и, чтобы успокоить его, укачивал на руках. А толстые крестьянки, мужья которых были в действующей армии, знаками объясняли своим послушным победителям, что они должны сделать — наколоть ли дров, заправить ли суп или намолоть кофе. Один солдат даже стирал белье для своей хозяйки, совсем дряхлой и беспомощной.

Граф, удивленный тем, что увидел, обратился с расспросами к причетнику, выходившему из церковного дома. Старая церковная крыса ответила:

— Да, эти — народ не плохой. Говорят, это будто бы и не пруссаки: они из каких-то мест еще подальше, хорошо даже не знаю откуда. И у всех у них дома остались жены и дети. Не очень-то радует эта война, можете мне поверить! Уж вер-

но, там, так же как здесь, плачут по мужьям. Им тоже война принесет только нищету да горе, как и нам. Здесь у нас пока не так еще худо, потому что они никого не обижают и работают, точно у себя дома. Видите ли, сударь, бедным людям приходится помогать друг другу. Это богатые затевают войны.

Корнюде был так возмущен этой картиной дружеского согласия между победителями и побежденными, что предпочел вернуться в гостиницу и больше оттуда не выходить. Луазо сострил насчет пруссаков, что они «пополняют убыль населения». Карре-Ламадон посмотрел на дело серьезнее: «Они восстанавливают то, что разрушили».

Однако кучера они все же не находили. Наконец его отыскали в кабачке, где он с денщиком немецкого офицера по-братски угощался за одним столом.

Граф спросил его:

— Разве вам не было приказано запрягать к восьми часам?

— Так-то оно так, да я получил после другой приказ.

— Какой?

— Не запрягать вовсе.

— Кто же вам это приказал?

— Прусский капитан, вот кто!

— Но почему же?

— А мне откуда знать? Подите спросите его. Мне запрещено запрягать, я и не запрягаю — вот и все.

— Он сам вам это сказал?

— Нет, сударь, мне хозяин передал приказ от его имени.

— Когда?

— Вчера вечером, когда я собирался идти спать.

Трое путешественников возвратились в гостиницу сильно встревоженные.

Они потребовали трактирщика, но служанка ответила, что хозяин из-за своей одышки никогда не встает раньше десяти часов. Ей строго запрещено будить его до этого часа, разве только если случится пожар.

Тогда они пожелали переговорить с офицером, но оказалось, что это совершенно невозможно, несмотря на то что он жил тут же, в гостинице: только одному Фоланви было предоставлено право обращаться к нему по всяким частным делам. Оставалось ждать. Дамы разошлись по своим комнатам и занялись разными пустяками.

Корнюде расположился в кухне у большого очага, в котором пылал яркий огонь. Он попросил принести маленький столик и бутылку пива, достал свою трубку, которая пользовалась среди демократов почти таким же почетом, как и ее хозяин, как будто, служа ему, она тем самым служила и отечеству. Это была отличная пенковая трубка, замечательно обкуренная, такая же черная, как зубы ее хозяина, благоухающая, изогнутая, блестящая, как бы приспособившаяся к руке Корнюде и дополнявшая его физиономию. Он сидел неподвижно, глядя то на огонь очага, то на шапку пены в своей кружке. И, отхлебнув глоток пива, он всякий раз с довольным видом проводил своими длинными худыми пальцами по жирным волосам и обсасывал пену с усов.

Луазо под предлогом того, что ему хочется размять ноги, отправился сбывать свои вина местным торговцам. Граф и фабрикант беседовали о политике. Они пытались предугадать, что ожидает Францию. Один возлагал все надежды на Орлеанский дом, другой верил, что в минуту полного отчаяния придет неведомый избавитель, герой, новый Дюгеклен,[4] или новая Жанна д'Арк,

---

[4] Примечания: 4

Бертан Дюгеклен — французский полководец XIV в., разбивший вторгшихся во Францию англичан.

может быть, или новый Наполеон I. Ах если бы наследный принц не был так молод! Корнюде слушал разговор с усмешкой человека, посвященного в тайны судеб. Его трубка наполняла своим ароматом всю кухню.

Но вот пробило десять часов, и появился Фоланви. К нему кинулись с расспросами. Но он только повторил несколько раз одну и ту же фразу:

— Офицер мне сказал: «Господин Фоланви, запретите завтра закладывать карету для приезжих. Я не желаю, чтобы они уехали, пока я не дам им разрешения. Слышали? Это все».

Тогда путешественники решили добиться свидания с самим офицером. Граф послал ему визитную карточку, на которой и Карре-Ламадон приписал свое имя, перечислив все свои титулы. В ответ немец велел передать, что примет этих двух господ, после того как позавтракает, то есть около часу дня.

Между тем пришли сверху дамы, и, несмотря на тревожное состояние, все немного закусили. Пышка казалась больной и чем-то удрученной.

Они кончали пить кофе, когда пришел денщик за графом и Карре-Ламадоном.

К ним присоединился Луазо. Они попытались привлечь и Корнюде, чтобы придать побольше

торжественности их обращению к коменданту, но Корнюде с важностью объявил, что он не намерен ни при каких условиях вступать в какие-либо сношения с немцами. После этого он вернулся на свое место у очага и потребовал новую бутылку пива.

Трое мужчин поднялись наверх и были введены в лучшую комнату гостиницы, где офицер принял их, развалясь в кресле и положив ноги на камин, с длинной фарфоровой трубкой в зубах. На нем был крикливо яркий халат, захваченный, вероятно, в покинутом доме какого-нибудь буржуа с дурным вкусом. Он не встал, не поздоровался с вошедшими, даже не взглянул на них. Он являл собой великолепный образец неприкрытой грубости солдата-победителя.



Наконец через несколько минут он произнес:

— Что вам угодно?

Граф ответил:

— Мы хотим уехать, сударь.

— Нет.

— Разрешите спросить, чем вызван ваш отказ?

— Тем, что я не желаю.

— Позвольте почтительно заметить вам, сударь, что ваш главнокомандующий выдал нам разрешение на проезд до Дьепа. И я не вижу, чем вызвана такая суровость с вашей стороны.

— Я не хочу — вот и все. Можете идти.

Все трое поклонились и вышли.

День прошел печально. Никто не понимал, чем вызван каприз немца, и в голову приходили самые странные догадки. Все собрались в кухне и вели бесконечные споры, придумывая самые неправдоподобные объяснения. Уж не хотят ли их задержать в качестве заложников? Но с какой целью? А может быть, их заберут в плен? Или, пожалуй, еще потребуют у них большой выкуп? Эта мысль привела их в ужас. Больше всего испугались те, кто был богаче других. Они уже ясно представляли себе, как их заставят для спасения своей жизни отдать целые мешки золота в руки этого наглеца-солдата. Они ломали голову, приду-

мывая, как бы поискуснее солгать, как бы скрыть свое богатство и выдать себя за неимущих, за последних бедняков. Луазо снял свою цепочку от часов и спрятал ее в карман. С наступлением темноты общее беспокойство еще усилилось. Зажгли лампу, и, так как до обеда оставалось еще два часа, г-жа Луазо предложила для развлечения сыграть в тридцать одно.[5] Все согласились. Даже Корнюде, потушив из вежливости свою трубку, принял участие в игре.

Граф перетасовал колоду и сдал карты. У Пышки сразу оказалось тридцать одно очко. Очень скоро увлечение игрой заглушило мучившую всех тревогу. Корнюде заметил даже, что чета Луазо начинает плутовать.

Наступило время обеда. Только что они собрались сесть за стол, как явился Фоланви и прохрипел:

— Прусский офицер приказал спросить у мадемуазель Элизабет Руссе, не переменила ли она своего решения?

Пышка вся побледнела, затем лицо ее покрылось густым румянцем. Гнев так душил ее, что некоторое время она не могла произнести ни

---

[5] Примечания: 5
Карточная игра.

слова. Наконец она разразилась:

— Скажите этому негодяю, этому скоту, этой прусской сволочи, что я никогда не соглашусь, слышите, никогда, никогда, никогда!

Хозяин ушел. Пышку все обступили, засыпали вопросами, стараясь выведать, наконец, в чем дело. Сначала она упорно отмалчивалась, но скоро гнев развязал ей язык:

— Чего он хочет?... Чего он хочет?... Он хочет спать со мной! — закричала она.

Ее выражения даже никого не покоробили, настолько сильно было всеобщее возмущение. Корнюде с такой силой стукнул кружкой о стол, что она разбилась. Раздался общий вопль ярости против этого гнусного нахала-солдафона, поднялась буря негодования. Все объединялись для сопротивления, как будто каждому предстояло принести часть той жертвы, которая требовалась от Пышки. Граф с омерзением заявил, что эти господа ведут себя, как дикие варвары. Особенно горячее и нежное сочувствие выражали Пышке женщины. Монахини, появлявшиеся внизу лишь в часы еды, молчали, не поднимая глаз.

После того как улеглось первое волнение, все же сели обедать, но за столом говорили мало; все размышляли.



После обеда дамы рано ушли к себе, а мужчины остались покурить и составили партию в экарте. Пригласили и Фоланви, надеясь как-нибудь незаметно выведать у него, каким путем можно победить упорство офицера. Но Фоланви, занятый только картами, ничего не слышал, ничего не отвечал. Он все время только твердил:

— Давайте не отвлекаться от игры, господа!

Он с таким вниманием следил за игрой, что даже забывал откашляться, и по временам грудь его уподоблялась органу: из свистящих легких его вырывалась вся звуковая гамма астмы — от глубоких и низких нот до пронзительных, на-

поминавших крик молодого петушка, который учится петь.

Он даже отказался идти спать, когда за ним пришла жена, от усталости едва державшаяся на ногах. В конце концов она ушла наверх без него: она «ранняя птичка», встает всегда на заре, а муж ее, «этот полуночник», всегда рад просидеть ночь с приятелями.

Фоланви крикнул ей вслед:

— Поставь у огня мой гоголь-моголь! — и снова углубился в игру. Когда стало ясно, что от него ничего не добьешься, все объявили, что уже поздно и пора спать, и разошлись по своим комнатам.

На следующее утро все опять встали довольно рано со смутной надеждой и с еще более сильным желанием уехать. Их ужасала мысль, что еще целый день, может быть, предстоит провести в этой ужасной харчевне.

Увы! Лошади по-прежнему стояли в конюшне и кучер не показывался. От нечего делать они побродили вокруг кареты.

Завтрак прошел очень уныло. По отношению к Пышке ощущался какой-то холодок. Как известно, утро вечера мудренее, и теперь все дело представлялось уже в несколько ином свете. Они уже начинали сердиться на Пышку за то, что она

не побывала тайком у пруссака и не приготовила к утру приятный сюрприз своим попутчикам. Что могло быть проще? Да и кто бы узнал об этом? Для приличия она могла сказать офицеру, что делается это из жалости к ним. Что это составляло для такой женщины, как она?

Однако этих соображений никто пока не высказывал вслух.

После полудня, так как все умирали от скуки, граф предложил прогуляться по окрестностям. Они хорошенько укутались и вышли всей компанией, за исключением Корнюде, который предпочел остаться у огня, и монахинь, проводивших все время в церкви или у священника.

Мороз, крепчавший с каждым днем, жестоко щипал нос и уши. Ноги так зябли, что каждый шаг причинял боль. И таким жутким унынием веяло на всех от расстилавшихся перед ними полей и бескрайней белизны снежного покрова, что они сразу повернули обратно со сжимавшимся от холода сердцем.

Четыре женщины шли впереди, за ними на некотором расстоянии — трое мужчин.

Луазо, уловив общее настроение, неожиданно спросил, долго ли им придется торчать в такой дыре из-за «этой девки»? Граф, как всегда,

корректный, возразил, что нельзя требовать от женщины такой тяжелой жертвы и что во всяком случае это может исходить только от нее самой. Карре-Ламадон заметил, что если французы, как предполагается, пойдут в контрнаступление со стороны Дьепа, то столкновение с пруссаками, безусловно, произойдет именно здесь, в Тоте. Эта мысль встревожила обоих собеседников фабриканта.

— А не двинуться ли нам отсюда пешком? — предложил Луазо.

Граф пожал плечами:

— Мыслимо ли это? По такому снегу! Да еще с женщинами! И, кроме того, за нами сразу снарядят погоню, поймают через десять минут, и мы как пленники очутимся во власти солдат.

Это было верно; все замолчали.

Дамы тем временем беседовали о нарядах; но среди них ощущалась какая-то натянутость.

Неожиданно в конце улицы показался офицер. На фоне снега, замыкавшего горизонт, выделялась его высокая фигура в мундире с перетянутой осиной талией. Он шагал, широко расставляя ноги, той особенной походкой военных, которые боятся запачкать свои тщательно начищенные сапоги.

Проходя мимо дам, он поклонился им, мужчин же удостоил только презрительным взглядом. У тех, впрочем, хватило достоинства не поклониться ему. Только Луазо протянул было руку к своей шляпе.

При виде офицера Пышка вспыхнула до ушей. А три замужние женщины почувствовали острое унижение, оттого что этот солдат встретил их в обществе особы, по отношению к которой он позволил себе такую дерзость.

Они заговорили о нем, о его фигуре, лице. Г-жа Карре-Ламадон, знавшая множество офицеров и понимавшая в них толк, нашла, что этот совсем не дурен. Она даже пожалела, что он не француз, так как из него вышел бы красавец-гусар, по которому все женщины сходили бы с ума.

Возвратясь в гостиницу, они не знали, чем бы заняться. Стали даже обмениваться колкостями из-за разных пустяков. Пообедали быстро, в молчании, и после этого сразу улеглись спать, чтобы как-нибудь убить время.

На следующее утро на всех лицах была написана усталость и скрытое озлобление. С Пышкой дамы почти не разговаривали.

Послышался колокольный звон: это звонили в церкви по случаю крестин. У Пышки был ре-

бенок, отданный на воспитание в крестьянскую семью в Ивето. Она навещала его раз в год, а то и реже, и никогда о нем не вспоминала. Но мысль о крестинах этого чужого ребенка вдруг вызвала в ее сердце прилив горячей нежности к ее собственному, и ей захотелось присутствовать на обряде.

Как только она ушла, все переглянулись и подсели ближе друг к другу, чувствуя, что пора наконец на что-нибудь решиться. Луазо вдруг осенила мысль: предложить офицеру, чтобы он задержал одну Пышку, а всех остальных отпустил.

Фоланви и на этот раз взялся выполнить поручение, но почти тотчас же возвратился: немец выгнал его вон. Зная человеческую натуру, он решил не выпускать всю компанию до тех пор, пока его желание не будет удовлетворено.

Тут уж г-жа Луазо, не вытерпев, дала волю своей природной вульгарности.

— Не сидеть же нам здесь до самой смерти, в самом деле! Раз у нее такое ремесло, у этой потаскушки, и она проделывает это со всеми мужчинами, какое право имеет она отказывать тому или другому? Ведь путалась же она, с позволения сказать, с каждым встречным и поперечным в

Руане, даже с кучерами. Да, сударыня, с кучером префекта! Мне это отлично известно, потому что он покупает у нас вино. А теперь, когда нужно вывести нас из затруднения, эта дрянь разыгрывает из себя недотрогу!.. Я нахожу, что этот офицер ведет себя еще очень прилично. Очень может быть, что он просто изголодался по женщинам. И, конечно, он предпочел бы кого-нибудь из нас трех. Но, как видите, он довольствуется той, которая доступна для всех. Он относится с уважением к замужним женщинам. Подумайте, ведь он здесь хозяин! Ему стоит только сказать «хочу» — и он может взять нас силой. Мало ли у него солдат?

Две другие дамы слегка вздрогнули. У хорошенькой г-жи Карре-Ламадон заблестели глаза, и она чуточку побледнела, как будто уже представила себе мысленно, как офицер насилует ее.

Подошли мужчины, до сих пор беседовавшие в стороне. Разъяренный Луазо готов был выдать немцу «эту негодяйку» связанной по рукам и по ногам. Но граф, насчитывавший в своем роду трех посланников и даже по наружности своей дипломат, был сторонником более осторожной и ловкой политики.

— Надо ее склонить к этому, — сказал он.

Стали вырабатывать план действий.

Дамы придвинулись ближе друг к другу и понизили голос.

Разговор стал общим, каждый высказывал свои соображения. При этом вполне соблюдалось внешнее приличие. В особенности дамы умудрялись находить для самых скабрезных вещей тончайшие обороты и изящные выражения. Посторонний человек ничего бы не понял, настолько они были осторожны в выборе слов. Но так как броня целомудренной стыдливости, в которую облачена каждая светская женщина, является лишь тонкой поверхностной оболочкой, то наши дамы упивались этой фривольностью и безмерно веселились в душе, чувствуя себя в своей стихии, смакуя любовные делишки со сладострастием лакомки-повара, стряпающего ужин для другого.

В конце концов эта история стала казаться им такой забавной, что к ним снова вернулось веселое настроение. Шутки графа, немного рискованные, но умело сказанные, вызывали у всех улыбки. Луазо, в свою очередь, отпустил несколько более откровенных непристойностей, но и они не смутили никого. Теперь у всех была на уме одна и та же мысль, грубо выраженная г-жей Луазо: «Раз у этой девки такое ремесло, с какой

стати она отказывает именно этому офицеру?» Хорошенькая г-жа Карре-Ламадон, казалось, даже находила, что на месте Пышки она меньше всего стала бы сопротивляться ему.

Долго подготовлялась эта блокада, словно дело шло об осаде какой-нибудь крепости. Договорились, какую каждый из них возьмет на себя роль, какие доводы он будет приводить, какие маневры употребит. Выработали план атак, военных хитростей, которые следовало пустить в ход, предусмотрены были все неожиданности, могущие возникнуть при штурме этой живой крепости, которую хотели заставить впустить неприятеля.

Один лишь Корнюде оставался в стороне, не принимая никакого участия в этой затее.

Все были так поглощены своими соображениями, что и не заметили прихода Пышки. Нелегкое «тс-с», произнесенное графом, заставило всех поднять глаза. Она здесь. Все сразу замолчали. Сначала какое-то стеснение мешало заговорить с нею. Графиня, более других опытная в светском лицемерии, первая спросила:

— Ну что, интересно было на этих крестинах?

Толстушка, еще взволнованная, принялась рассказывать обо всем, что видела, описывала лица

и манеры присутствовавших на крестинах и даже самую церковь. В заключение она заметила:

— Хорошо бывает иногда помолиться.

До завтрака дамы ограничились тем, что были с ней очень любезны, чтобы увеличить ее доверие и готовность следовать их советам.

Но, едва сели за стол, началось наступление. Сперва завели туманный разговор о самопожертвовании. Приводили примеры из древности: историю Юдифи и Олоферна, потом, неизвестно почему, Лукреции и Секста. Вспомнили и Клеопатру, которая, принимая на своем ложе всех вражеских полководцев, превращала их в покорных рабов. Потом пошла уже какая-то фантастическая история — плод воображения этих невежественных миллионеров — о римских гражданках, которые отправились в Капую, чтобы усыпить в своих объятиях Ганнибала, его военачальников и целые фаланги наемников. Припомнили всех женщин, которые задерживали наступление завоевателей, превращая свое тело в поле сражения, властвуя с его помощью, пользуясь им как оружием; женщин, которые своими геройскими ласками покоряли людей ненавистных или презренных, жертвуя своим целомудрием ради мести или преданности.

Рассказали даже в сдержанных выражениях об англичанке из знатной семьи, согласившейся привить себе ужасную заразную болезнь, с тем чтобы передать ее Бонапарту, который спасся каким-то чудом, почувствовав внезапную слабость в час рокового свидания.

Все это рассказывалось в приличной и осторожной форме, сквозь которую порою прорывался нарочитый энтузиазм, звучавший как призыв к подражанию.

В конце концов создавалось впечатление, что удел женщин в этом мире — постоянно жертвовать собой, предоставляя свое тело для удовлетворения грубых солдатских прихотей.

Благочестивые монахини, казалось, ничего не слышали, погруженные в глубокую задумчивость. Пышка хранила молчание.

Ее на весь остаток дня предоставили собственным размышлениям. Но теперь, обращаясь к ней, почему-то не говорили «сударыня», как бы желая несколько снизить степень уважения, которое она завоевала, дать ей почувствовать ее позорное положение.

За обедом, когда подавали суп, снова появился Фоланви и повторил тот же вопрос, что и накануне:

— Прусский офицер спрашивает мадемуазель Элизабет Руссе, не переменила ли она своего решения?

Пышка сухо ответила:

— Нет.



Во время обеда коалиция несколько ослабела. У Луазо вырвались три неосторожные фразы. Все старались привести новые примеры из истории, но не могли ничего придумать. Тут графиня, быть может, без всякой задней мысли, просто побуждаемая смутной потребностью отдать дань религии, обратилась к старшей из монахинь с каким-то вопросом о подвижничестве святых. Ведь многие из них совершали деяния, которые в наших глазах являются преступными. Но церковь охотно прощает такие преступления, когда они совершаются во славу божию или ради блага ближнего. Это был сильный аргумент, и графиня им воспользовалась.

Было ли тут своего рода молчаливое соглашение, тайная снисходительность, которая свойственна всякому носящему церковную одежду, или просто пришедшаяся весьма кстати бестолковость и глупая услужливость, но старая монахиня оказала заговору весьма существенную поддержку. Ее считали застенчивой, а она неожиданно проявила смелость, красноречие и страстность. Она принадлежала к числу тех, кого мало смущают казуистические тонкости. Ее убеждения были крепче железа, вера никогда не колебалась, совесть не знала сомнений. Жертва

Авраама казалась ей вполне естественной: она и сама не замедлила бы убить отца и мать, если бы на то было веление свыше. По ее мнению, ничто не могло быть неугодно господу, раз оно сделано с похвальным намерением. Воспользовавшись религиозным авторитетом своей неожиданной союзницы, графиня постаралась получить от нее как бы толкование известного нравственного принципа: «Цель оправдывает средства».

Она спросила:

— Так вы, сестрица, полагаете, что господу богу угодны все пути и он простит всякий грех, если только побуждение чисто?

— Кто же мог бы в этом сомневаться, сударыня? Поступок, сам по себе достойный порицания, часто становится даже похвальным благодаря цели, которая его внушила.

Разговор продолжался в том же духе: толковали намерения Бога, предугадывали его решения, вынуждали его интересоваться тем, что, в сущности, его совершенно не касается.

Все это делалось осторожно, искусно, в замаскированной форме. Но каждое слово благочестивой женщины в монашеском уборе пробивало брешь в сопротивлении негодующей куртизанки. Затем беседа приняла несколько иное направление.

Монахиня, перебирая четки, стала рассказывать о монастырях своего ордена, о настоятельнице, о себе самой, о своей милой спутнице, дорогой сестрице из монастыря Св. Никифора. Их вызвали в Гавр, чтобы ухаживать там в госпиталях за сотнями солдат, больных оспой. Она говорила о положении этих несчастных, подробно описывала их болезнь. И вот теперь, из-за того, что по капризу этого пруссака они задержались в пути, обречены на смерть множество французов, которых они, быть может, спасли бы. Ухаживать за больными солдатами — ее специальность. Она была в Крыму, в Италии и в Австрии. В рассказах об этих кампаниях она неожиданно предстала перед слушателями как одна из тех воинственных монахинь, которые как бы созданы для того, чтобы следовать за армией, подбирать раненых в разгаре сражений и лучше иного командира усмирять одним словом самых непокорных буянов, — настоящая «полковая сестра», самое лицо которой, обезображенное, изрытое бесчисленными оспинами, казалось эмблемой опустошений, производимых войной.

Успех ее речей казался настолько несомненным, что после нее уже никто ничего не говорил.

Сразу после обеда все разошлись по своим комнатам и на другое утро собрались внизу довольно поздно.

Завтрак прошел молчаливо. Посеянному накануне зерну надо было дать время прорасти и принести плоды.

Графиня предложила прогуляться до обеда. Когда все вышли, граф, как это было заранее условлено, взял Пышку под руку и вместе с нею немного отстал от остального общества.

Он заговорил с нею тем отечески фамильярным, слегка презрительным тоном, каким солидные мужчины говорят с девицами легкого поведения, называя ее «милое дитя», снисходя к ней с высоты своего положения в обществе и своей неоспоримой порядочности. Он сразу перешел к сути дела:

— Итак, вы предпочитаете, чтобы мы оставались здесь, где нам, как и вам самой, грозят всякие насилия в случае поражения прусских войск, вместо того чтобы согласиться на одну из тех любезностей, которые вы в своей жизни так часто оказывали?

Пышка ничего не отвечала.

Он действовал на нее лаской, убеждением, чувством. Он умел, оставаясь «господином графом»,

проявлять себя галантным там, где это было нужно, расточать комплименты, быть, наконец, даже любезным. Он превозносил услугу, которую она им окажет, говорил о всеобщей признательности. Затем, перейдя вдруг на «ты», весело прибавил:

— И знаешь ли, милочка, он мог бы потом хвастать тем, что полакомился такой красивой девушкой, каких на его родине вряд ли много найдется.

Пышка, ничего не отвечая, догнала остальных.

После прогулки она ушла к себе в комнату и больше не показывалась. Всеобщее беспокойство дошло до крайности. Как она поступит? Если она дальше будет упрямиться, что тогда делать?

Позвонили к обеду; Пышки все не было, ее напрасно ожидали. Наконец, пришел Фоланви и сообщил, что мадемуазель Руссе нездоровится и можно садиться за стол. Все навострили уши. Граф подошел к хозяину и тихонько спросил:

— Что, согласилась?

— Да.

Из чувства приличия граф ничего не сказал остальным, а только едва заметно кивнул головой. Тотчас же у всех вырвался глубокий вздох облегчения, и лица просветлели. Луазо воскликнул:

— Тысяча чертей! Ставлю шампанское, если только оно найдется в этом заведении!

И г-жа Луазо с тоской увидела, что трактирщик вернулся, неся в руках четыре бутылки. Все вдруг стали разговорчивы и шумливы. Бурная радость наполнила сердца. Граф, кажется, только теперь заметил, как очаровательна г-жа Карре-Ламадон. Фабрикант стал отпускать комплименты графине. Разговор оживился, засверкал остроумием и весельем.

Вдруг Луазо сделал трагическое лицо и, подняв руки, рявкнул:

— Тише!

Все умолкли, недоумевая, почти испуганные. Тогда он насторожился, протянул обе руки, как бы призывая всех к молчанию, таинственно произнес: «Тс… с… *с…*», потом поднял глаза к потолку, снова прислушался и возвестил уже обыкновенным голосом:

— Успокойтесь, все идет хорошо.

Сначала все как будто не поняли, потом на лицах заиграли улыбки.

Через четверть часа он снова разыграл ту же комедию и в течение вечера много раз повторял ее. Он делал вид, что обращается к кому-то в верхнем этаже, давал двусмысленные советы с

остроумием настоящего коммивояжера. То он шептал с печальным видом: «Бедняжка», то гневно цедил сквозь зубы: «Ах ты, прусская каналья!» Иногда в самые неожиданные моменты он вдруг выкрикивал дрожащим голосом несколько раз подряд:

— Довольно!.. Довольно!..

И добавлял как бы про себя:

— Только бы нам довелось увидеть ее снова! Как бы он не уморил ее, этот мерзавец.

Эти шутки дурного тона забавляли всех, нисколько никого не шокируя, так как моральная брезгливость, как и все прочее, зависит от обстановки, а здесь мало-помалу создалась атмосфера скабрезных мыслей.

За десертом даже дамы позволили себе несколько остроумных и осторожных намеков. Глаза у всех блестели: было много выпито. Граф, и в минуты легкомыслия не терявший своей обычной важности, позволил себе сделать имевшее шумный успех сравнение их настроения с радостным чувством людей, потерпевших на Северном полюсе кораблекрушение, когда они видят, наконец, что зимовка кончилась и путь на юг открыт. Расходившийся Луазо встал со стаканом шампанского в руке:

— Пью за наше освобождение!

Все поднялись с возгласами одобрения. Даже обе монахини, уступив настояниям дам, согласились омочить губы в этом шипучем вине, которого они никогда еще не пробовали. Они нашли, что оно похоже на лимонад, но только гораздо вкуснее.

Луазо выразил общее настроение, сказав:

— Какая жалость, что нет фортепиано: можно было бы отхватить кадриль.

Корнюде за все это время не проронил ни слова, не сделал ни одного жеста. Он, казалось, углубился в серьезные размышления и по временам сердито теребил свою длинную бороду, словно пытаясь еще больше удлинить ее. Наконец уже около полуночи, когда все стали расходиться, Луазо, который уже пошатывался, хлопнул его вдруг по животу и, запинаясь, сказал:

— Вы что-то не в духе сегодня, гражданин! Вы все молчите.

Корнюде резко поднял голову и окинул всю компанию сверкающим от негодования взглядом:

— Заявляю вам всем, что вы учинили гнусность!

Он встал, пошел к двери, снова повторил: «Гнус-

ность…» — и скрылся.

Сначала это внесло холодную струю в атмосферу веселья. Луазо, опешив, имел преглупый вид. Но к нему сразу вернулась его обычная самоуверенность, и он с кривлянием произнес несколько раз:

— Что, голубчик, зелен виноград?

Так как никто ничего не понял, он посвятил все общество в «тайну коридора». Последовал новый взрыв веселья. Дамы хохотали как сумасшедшие. Граф и Карре-Ламадон плакали от смеха. Они не могли поверить Луазо.

— Неужели? Вы уверены в этом? Так он хотел…

— Говорю же вам, что я видел собственными глазами.

— И она отказала?

— Да, оттого что немец был в соседней комнате.

— Не может быть!

— Клянусь вам.

Граф задыхался от смеха. Фабрикант обеими руками держался за живот. Луазо продолжал:

— Так что, понимаете, сегодня вечером ему не до шуток, совсем не до шуток.

И все трое, захлебываясь, изнемогая от хохота, продолжали твердить одно и то же.

Скоро все разошлись. Г-жа Луазо, женщина колючая, как шпилька, ложась спать, не преминула заметить мужу, что «эта злючка» Карре-Ламадон смеялась весь вечер скрепя сердце.

— Знаешь, когда женщина неравнодушна к мундиру, ей безразлично, француз это или немец, честное слово. Господи боже, до чего это противно!

Всю ночь во мраке коридора слышались какие-то шорохи, легкие, едва уловимые звуки, походившие на вздохи, тихое шлепанье босых ног, слабое поскрипывание. Все заснули, должно быть, очень поздно, так как в щелях под дверьми долго мелькали полоски света. Таково действие шампанского. Говорят, оно разгоняет сон.

Наутро снег так и сверкал на ярком зимнем солнце. Дилижанс, наконец запряженный, ожидал у подъезда. Целая стая белых голубей с черными, в розовом ободке, глазами, раздувая пышное оперение, важно прохаживалась под ногами шести лошадей и рылась в дымящемся навозе, отыскивая себе корм.



Кучер в бараньей шубе уже сидел на козлах, покуривая трубку, и все пассажиры, сияя, торопливо укладывали провизию, запасенную на остаток пути.

Ждали только Пышку. Наконец она появилась.

Она казалась немного смущенной, пристыженной и робко подошла к своим спутникам. Все как

один отвернулись, словно не замечая ее. Граф с достоинством взял под руку жену, как бы оберегая ее от соприкосновения с чем-то нечистым.

Пышка остановилась пораженная. Потом, собрав все свое мужество, подошла к жене фабриканта и смиренно шепнула:

— Здравствуйте, сударыня.

Та ответила лишь легким высокомерным кивком головы, сопровождая его взглядом оскорбленной добродетели. Все делали вид, что заняты, и сторонились ее, как будто она в своих юбках принесла заразу. Затем все поспешили к карете. Пышка вошла последней и молча села на то же место, которое занимала в начале путешествия.

Ее как будто не видели, не были с ней знакомы. Г-жа Луазо, негодующе посматривая на нее издали, вполголоса сказала мужу:

— Какое счастье, что я не сижу рядом с ней.

Тяжелая карета тронулась — и прерванное путешествие возобновилось.

Некоторое время все молчали. Пышка не решалась поднять глаза. Она негодовала на своих спутников и в то же время чувствовала себя униженной тем, что уступила, осквернённой поцелуями пруссака, в объятия которого ее с таким лицемерием толкнули.

Повернувшись к г-же Карре-Ламадон, графиня вскоре прервала тягостное молчание:

— Вы, кажется, знакомы с госпожой д'Этрель?

— Да, она моя приятельница.

— Какая обаятельная женщина!

— Да, она очаровательна! Вот подлинно избранная натура: высоко образованна и артистка до мозга костей. Она чудесно поет и рисует.

Фабрикант беседовал с графом, и сквозь дребезжание стекол слышались слова: «купон — срок платежа — премия — на срок».

Луазо, стянувший в гостинице старую колоду карт, засаленную от пятилетнего трения о плохо вытертые столы, играл с женой в безик.

Монахини, перебирая висевшие у пояса длинные четки, обе разом перекрестились и быстро зашевелили губами, все ускоряя свое невнятное бормотание, как будто состязаясь в быстроте чтения молитв. Время от времени они целовали образок, снова крестились и снова начинали быстро бормотать.

Корнюде не шевелился, о чем-то задумавшись.

Прошло три часа. Луазо, собрав карты, сказал:

— Хочется есть.

Тогда его жена достала перевязанный сверток и вынула из него кусок холодной телятины. Она

аккуратно разрезала его на тонкие, но солидные ломтики, и оба принялись за еду.

— Не сделать ли и нам то же самое? — спросила графиня.

Остальные согласились, и она развернула провизию, приготовленную на обе семьи. В длинной миске с крышкой, на которой фаянсовый заяц как бы указывал, что под ней покоится нашпигованный заяц, лежал сочный паштет. Белые полоски сала пронизывали темное мясо дичи, начиненной различным мелко изрубленным фаршем. Завернутый в газету изрядный кусок швейцарского сыра еще хранил на своей маслянистой поверхности отпечаток слов: «Происшествия».

Монахини достали пахнувшую чесноком колбасу, а Корнюде, засунув одновременно обе руки в глубокие карманы своего пальто, вытащил из одного четыре крутых яйца, из другого — горбушку хлеба. Он разбил скорлупу, бросил ее в солому под ногами и принялся уписывать яйца, роняя на свою длинную бороду крошки желтка, похожие на звездочки.

Пышка второпях и в волнении сегодняшнего утра не успела ничем запастись. И теперь она смотрела с озлоблением, задыхаясь от гнева, на всех этих людей, спокойно занятых едой. Сначала

в сильном раздражении она уже открыла было рот, чтобы прокричать этим людям то, что она думала об их поступке, чтобы осыпать их градом ругательств, просившихся ей на язык. Но она не могла произнести ни слова — до такой степени душило ее возмущение.

Никто не смотрел на нее, не думал о ней. Она чувствовала, что ее словно захлестнуло презрение этих честных негодяев, которые сначала принесли ее в жертву своим интересам, а затем отшвырнули как грязную, ненужную ветошь. Потом она вспомнила о своей объемистой корзинке, полной вкусных вещей, которую они уничтожили с такой прожорливостью, о двух цыплятах, на которых блестело желе, о своих паштетах, грушах, о четырех бутылках бордо. Ее ярость внезапно упала, подобно тому как лопается и падает туго натянутая струна: она почувствовала, что сейчас заплачет. Она делала невероятные усилия над собой, давилась слезами, как ребенок, но слезы подступали, уже блестели на ресницах, и наконец две крупные капли выкатились из глаз и медленно потекли по щекам. За ними последовали другие, катясь все быстрее, подобно струйкам, сочащимся из скалы, и падая на ее высокую грудь. Она сидела выпрямившись, неподвижно глядя в

одну точку, с бледным суровым лицом, надеясь, что слез ее никто не увидит.

Но графиня заметила и знаком указала на нее мужу. Тот пожал плечами, как бы говоря: «Что поделаешь, я тут ни при чем».

Г-жа Луазо торжествующе засмеялась про себя и прошептала:

— Она оплакивает свой позор.

Монахини, завернув в бумагу остатки колбасы, снова начали молиться.

А Корнюде, переваривавший свой завтрак, вытянул длинные ноги под скамью напротив, откинулся назад, скрестив руки, и с усмешкой человека, придумавшего хорошую шутку, принялся насвистывать «Марсельезу».

Все нахмурились. Очевидно, эта народная песня не пришлась по вкусу его соседям. Она действовала им на нервы, раздражала, у них был такой вид, словно сейчас они завоют, как собаки при звуках шарманки. Корнюде это заметил, но не перестал насвистывать. Время от времени он даже напевал вполголоса слова песни:

Любовь священная к народу,
Рукою мстителя води.
На бой, прекрасная свобода,

Своих защитников веди.

Снег стал тверже, и дилижанс теперь катился быстрее. И всю дорогу, до самого Дьепа, в течение долгих, унылых часов путешествия, на всех ухабах, сначала в сумерках, а потом и в полной темноте, Корнюде со свирепым упорством продолжал свое монотонное и мстительное насвистывание, заставлявшее его усталых и раздраженных соседей невольно следить за песней от начала до конца, припоминать в такт мелодии каждое ее слово.

А Пышка все плакала, и по временам рыдания, которых она не в силах была сдержать, слышались в темноте между строфами «Марсельезы».